

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

ГЛАВА 30. “ПЕРЕД СТРАШНОЙ КРОВАВОЮ ЧАШЕЙ...”

Они познакомились 11 апреля 1928 года на художественной выставке Общества имени Куинджи на улице Герцена в Ленинграде. Знакомство это в мельчайших живописных подробностях Анатолий описал в тот же день в письме, адресованном отцу, матери и брату Борису.

“Осматривая выставку, я увидел пожилого человека с бородой (вроде Шевченко в ссылке), в свитке простой деревенской и в сапогах. Я всегда смотрю на людей как-то выше, чем на себя, но здесь удивился: чего этому холую надо? – подумал про себя и смотрю, как большой, картины. Старичок смотрит, а вокруг него мнутя люди. Да какие люди – всё интеллигенция! Слышу, заговорил, и, знаешь, мама, как заговорил! Как-то умно, осмысленно и толково. Посмотрел ещё раз на старика и пошёл смотреть в следующее отделение художника Ф. Ф. Бухгольца. Хороший художник, портретист и колорист большой. Смотрю портреты всяких артистов, поэтов... И вдруг вижу старика нарисованного. Читаю в каталоге номер такой-то, и что же оказывается? Клюев. Знаешь, что Есенина вывел в люди, то есть в поэты. Вот мать честная! Подхожу к старику и кручусь, вроде как бы на картины моргаю, а куда к чёрту – на Клюева пялюсь! Смотрю, старичок подходит ко мне, спрашивает, как эта картина называется, и заговаривает об искусстве. Проходим мы мимо нарисованного портрета, я возьми да и сравни их обоих, портрет и Клюева. Он заметил это. Стали говорить, я сейчас же вклинил о Есенине. Вижу, старичок ко мне совсем душу повернул. Я о Клюеве: дескать, роскошь – стихи! О Кравченко заикнулся – знает, о Нестерове – ещё лучше и т. д. В результате познакомились, он сказал – Клюев, я – Кравченко.

Долго ходили, сидели на диванах. Он взял меня под руку, и, прохаживаясь по застланным коврами комнатам, говорили об искусстве, литературе; он мне рассказывал о писателях, о Серёженьке Есенине, его истинном друге. Он прослезился, говоря о нём. Я рассказал, что рисую. Он одобрял, восхищаясь картинами. Я рассказал о том, что пишу, он восхищался, просил прочесть. У меня нет /с собой/, – ответил я. Так, говоря, вспоминая (он назвал меня чистым русским сердцем), мы прохаживались, потом сели на диван.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 за 2011 год, № 1, 2 за 2012 год.

К нам подошли две дамы или барышни: одна высокая, с голубыми глазами, другая изящней одета и ниже ростом. Клюев представил меня: вот молодой художник и поэт Анатолий Кравченко, знакомьтесь! А это, — сказал Клюев, — жена Есенина, племянница графа Л. Н. Толстого. — Очень приятно! — и я пожал протянутую руку. Так было и со следующей.

После мы с Клюевым пошли к нему домой. Он много говорил нежным тоном и т. д. Дал мне свой адрес, а я ему свой. Говорил, что если я его не забуду, то он меня познакомит со всеми художниками Ленинграда, поэтами и писателями...

Письмо это замечательно многими нюансами. Невозможно не почувствовать, как хвастается Анатолий перед родными: вынудил самого Клюева обратиться на себя внимание! Как хитроумно “подкатился” к поэту. И как Клюев уже общается с ним — как с равным! И знает уже о нём, и картинами его восхищается (да видел ли Николай прежде хоть одну!), и стихи просит прочесть... И Анатолий, привыкший “смотреть на людей выше, чем на себя” — оказывается “на одной ноге” со знаменитым поэтом... Но один “проговор” просто поражает.

Пожилой человек “в свитке простой деревенской и в сапогах” — для Кравченко в первом приближении “холуй”... “Чего этому холую надо?” — здесь, среди “сплошь интеллигенции”! Эта фраза мгновенно вызывает в памяти давние слова из клюевского письма Есенину: “Видите ли — не важен дух твой, бессмертное в тебе, и интересно лишь то, что ты, холуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно...” Клюев тут же перестал быть для Кравченко “холуём”, когда “заговорил членораздельно” — “и как заговорил!.. Умно, осмысленно и толково...” А увидев портрет, восемнадцатилетний начинающий живописец окончательно проснулся: нет, перед ним не “холуй”, перед ним сам Клюев!

Такие совпадения не бывают случайными. Что “дореволюционная”, что “послереволюционная” интеллигенция (за нечастыми и вполне объяснимыми исключениями) так и относилась к человеку из деревни, выглядящему невесть какой птицей среди городской “изысканной” публики... А у Анатолия интеллигентский снобизм, как видно, органически сочетался с жадной потребностью привлечь к себе внимание известного человека. И не просто так он подчеркнул, что Клюев обещал познакомить его “со всеми художниками Ленинграда, поэтами и писателями...” Дескать, вон куда путь мой отныне лежит! Теперь уже не посмотрю на других “выше, чем на себя”...

А для Клюева здесь не было никакой загадки. В нарочитом верчении Анатолия перед ним он сразу увидел желание познакомиться во что бы то ни стало. И сразу легло на душу и упоминание о Есенине, и восторг молодого человека клюевскими стихами... Слишком тяжело было на душе всё последнее время. А тут — милостивый юноша “со взором горящим”, исполненный творческого полёта, жаждущий припасть к заботливой руке старшего и мудрого...

После стольких потерь показалось: вот она, ласточка, принесящая весну в осеннюю пору, на склоне лет. Божий подарок!

* * *

Анатолий Кравченко стал для Николая ещё одной “Нечаянной Радостью”, той, чьей минутой общения дорожишь, чья любая строчка письма наполняет душу благодарностью и восторгом.

“Светлый мой братик Анатолий, я обрадован истинной и живой радостью и памятью обо мне. Усердно прошу Вас и в дальнейшем не обходить меня Вашей лаской и приветом. Вы должны осознать свою силу влияния на людей — только “как любовь”. С годами она окрепнет и вместе с устремлением к красоте будет Вашим неуязвимым щитом во тьме житейской...”

“Милый друг, я не забыл Вас — всегда помню и люблю крепко... Настойчиво прошу Вас не забывать меня! Вы для меня живая и подлинная радость...”

“Я не забыл Вас — мой прекрасный художник... Благодарю от всего сердца, что Вы исполняете крепко своё обещание — не забывать меня. Я так нуждаюсь в добром бескорыстном слове... Будьте светлы духом и веруйте крепко в жизнь...”

*Выла улица каменным воем,
Но таинственным поясом муз
Обручил мою песню с тобою
Легкокрылых художеств союз.*

.....
*И теперь, когда головы наши
Подарила судьба палачу,
Перед страшной кровавою чашей
Я сладкую теплою свечу,*

*Чтоб черёмуха с белою вербой
Целовались с заветным окном.
Хорошо, когда жизнь на ущербе
Лебединым пахнула крылом.*

.....
*Как смешны в хризантемах зайчата,
Легковейны бубенчики пчёл.
Я не знал ни жены, ни собрата,
Но в тебе свою сказку нашёл.*

Клюев делится самым сокровенным, обговаривает все свои планы на будущее, наставляет “свою сказку” — как надо себя вести. Таких писем от него не получал даже Есенин!

“Я невыразимо тоскую по ангелу в тебе и всегда на руках огненных в молитве возношу тебя к престолу Святой Троицы. У меня в Москве есть благоуханные и святые встречи, — но тёмная жизненная суета иногда повергает меня в боль не только душевную, но и телесную. — Я два раза лежал больным от сердца и простуды. Всё хлопочу о пенсии и издании “Погорельщины”. Рукопись в издательстве лежит уже две недели, но около её происходит большая драка. Ответа ещё окончательного нет. Хотелось бы его дождать, чтобы получить деньги, чтобы нам с тобой прожить зиму без нужды. Я рвусь к тебе, но чисто деловые соображения держат меня в Москве. Мне очень тяжело от одиночества без милого голоса и ласки. Был у Нестерова, читал ему “Погорельщину”. Он содрогался и проливал слёзы, слушая... Мы с тобой обсуждали под саратовскими клёнами, какой тон тебе нужно и необходимо взять в этот год, чтобы тебя не обворовывали разные, в конце концов, не нужные тебе друзья. Стараешься ли ты во имя своего дивного искусства хоть сколько-нибудь выполнить это? Извини, мой любимый, что говорю тебе об этом, но эти слова я обращаю к тебе не в форме приказа, а только в форме кровной заботы...”

“Тоскую по ангелу в тебе...” — это не тоска по “любовнику”, что постоянно будет слышать за своей спиной Клюев, шёпот сей будет преследовать его почти до самого конца... Ангел распахнёт крылья с ласковой помощью старшего собрата — и Клюев стремится не выпускать Анатолия из-под своего крыла надолго, томится даже кратковременной разлукой, не упускает случая дать в очередном письме новый добрый совет... Да и брат Анатолия Борис позже признавал, что “первые серьёзные шаги и успехи Анатолия как портретиста всецело связаны с Клюевым. Начало было положено портретом Есенина” — портретом поэта, стоящего возле берёзы... Новое имя Анатолия Клюев же дал, вспоминая погибшего жавороночка.

— Вот у Есенина есть повесть “Яр”. Ярами на Руси назывались самые высокие и самые красивые места. Их и для ресторанов выбирали. Да и сами названия некоторых ресторанов в старинных русских городах от этого слова пошли...

Не о ресторанах он, конечно, думал. К слову для понятности молодым ребятам. Яр, он ведь — от языческого Ярилы-Солнца... Красу внешнюю и внутреннюю своего младого наперсника подчеркнуть хотелось. Красочной нотой звучала внутри песня из “Снегурочки” Островского:

*Свет и сила —
Бог Ярило!
Красное солнце наше,
Нет тебя в мире краше!*

А для портрета Есенина Клюев сам достал под расписку в Пушкинском доме фотографию, бюст и посмертную маску. Договорился директором П. Сакулиным, который не изменил своего отношения ни к Клюеву, ни к Есенину с тех пор, когда печатал свою знаменитую статью “Народный златоцвет”.

В Москве Николай тщетно пытался издать “Погорельщину”. И писал в Ленинград Анатолию свои удивительные письма.

“Мир тебе и любовь, и крепость душевная... Мои московские видения убедили меня в неизбежности мученичества всех, кто любит и для кого любовь — хлеб живой и нетленный. Враг не спит и ищет, кого бы поглотить. Но всё упование на тебя возлагаем, Мать Божия. Никто в мире, ни на земле, ни под землёй не поможет верующим и пребывающим в красоте, а также и стремящимся к красоте вечной. Один крест — меч в руках любящего. Ибо такова сама природа любви. Будь спокоен, укрепляй себя и питай покоем. Умоляю тебя об этом!.. Прости меня, любимый, что птахою незримой я от тебя утёк (цитата из “Каина”. — С. К.). Скоро прилечу на мягких, хотя и порядочно усталых крыльях.

Лобызаю тебя в сердце твоё, скучаю нестерпимо и имя твоё, как печать, на правой руке моей...”

И совершенно, казалось бы, невероятная заповедь молодому художнику от автора так и не принятая никуда “Погорельщины” и совершенно “противо-советского” “Каина” — заповедь, произнесённая от всей души:

“Будь верен коммуне, нашему величавому и прекрасному государственному строю, пламенным дням юного социализма, а остальное всё приложится. Я крепко верю, что моя родная республика не оставит своих самых верных и преданных сынов...”

И ведь не “страха ради иудейска” писано. И не на “перлюстрацию” рассчитано — смешно и думать. Но тот же мотив возникнет в стихах 1932 года, уже в клюевское московское житие.

Сам Клюев — не пригодившийся новой власти, отвергнутый ею, заклеимённый всеми мыслимыми клеймами, не питает никаких иллюзий насчёт своей дальнейшей судьбы.

*Мне революция не мать —
Подросток смуглый и вихрастый,
Что поговоркою горластой
Себя не может рассказать!*

Не может — ибо так и не успела осознать себя, ради чего свершилась и какой заряд в себе несла... “Керженский дух” отринула, заповеди “Третьего Рима” перечеркнула (а Бердяев, этот “философ свободы”, ничего толком так и не понявший, выводил “Третий Интернационал” из “Третьего Рима”), русское начало уничтожает во всём — а о Христе и говорить нечего... Сам-то он, встретивший революцию, когда ему за тридцать было, мог как к дочери неразумной к ней отнестись... А он тогда — как к свахе, принесшей дар.

*Напудрен нос у Парасковьи,
Вавилу молодит Оксфорд.
Ах, кто же в святорусском твёрд —
В подблюдной песне, Алконосте?
Молчат могилы на погосте,
И тучи вечные молчат...*

О себе всё сказано, с ним самим, Клюевым, осознавшим и “рассказавшим” революцию ещё десятилетие назад и так и оставшимся непонятым — всё предельно ясно, и участь его предрешена. Но молодой друг, почти ровесник этой самой революции — иная у него планида.

*Лишь ты смеёшься на закат,
Вихраст и смугло-золотист,
Неисправимый коммунист,
Двадцатую весной вспоённый,
“Вставай, проклятьем заклеимённый”*

*Тебе, как бабушке романс,
Что полюбил пастушку Ганс,
Ты ж бороду мою, как знамя,
Бурлацкий сказ, плоты на Каме,
Где светлый Суслов и Сезанн
Глядятся радугой в туман
Новорождённых пав и поля...*

“Пламенные дни юного социализма” и заветы дедушки, его духовные сокровища, передаваемые по наследству, — вот она, жизнь грядущая “милого Толи”.

* * *

Клюев, пытаясь обереечь Анатолия от “ненужных друзей”, старался ввести его в круг “избранных”.

Он знакомил его с Клычковым, Ивановым-Разумником, Алексеем Толстым... В эти же годы расширился и его собственный круг общения.

Кроме мастеров Палеха и живописцев, среди которых были и Щербаков, и Власов, и Рылов, и Петров-Водкин, Клюев обретает дружбу великих артистов русской оперы.

И в первую голову здесь нужно назвать Николая Голованова и Антонину Нежданову.

Их многое сближало — и в прошлом, и в настоящем.

Дирижёр Большого театра Голованов до революции руководил хором в Марфо-Мариинской обители, куда был приглашён Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной. Он сочинял духовные песнопения, среди которых особое место занимал кондак святителю Николаю, что не могло не произвести особого впечатления на Клюева. Семья была истово православной, супруги были воистину воцерковлёнными людьми; временами, правда, набожность уступала место некоторой бравате — не могли они не погордиться, бывало, перед многочисленными гостями огромным количеством старых икон в доме. Но это была слабость, понятная Клюеву. Тут предмет для общего разговора был неисчерпаемый.

Да и сам Николай Голованов был в это время в положении если не равном клюевскому, то близком к нему.

Он уже не единожды подвергался лютым нападкам безграмотных рапповцев, обвинявших его в монархизме, русском национализме и антисемитизме (классический “джентльменский” набор!)... В ходу уже было словечко “головановщина”, означающее сочетание всех трёх вышеуказанных признаков. Соответствующим образом проинструктированная комсомольская молодёжь устраивала в Большом театре обструкции с криками “Долой черносотенца Голованова!”, а в “Комсомольской правде” было опубликовано примечательное заявление Всеволода Мейерхольда:

“Если факты, сообщённые в печати, подтвердятся, к Голованову надо относиться беспощадно. Я хорошо знаком с бытом Большого театра и знаю, что часть хора привыкла, например, по “большим праздникам” выступать в церквах. Хотя религиозные убеждения дело частное, но такие “убеждения” не могут не способствовать созданию настроений, возвращающих антисемитов”.

Сам Сталин в письме к рапповскому драматургу Билль-Белоцерковскому объяснил, что “головановщина” “есть явление антисоветского порядка”, но это не значит, “что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распротиться со своими ошибками...” Последняя фраза, очевидно, родилась под влиянием того, что в защиту Голованова выступили композиторы, артисты МХАТа, солисты Большого театра, что, впрочем, не избавило дирижёра от соответствующих оргвыводов: он был временно отстранён от работы в Большом и лишён права преподавания в Московской консерватории.

В декабре 1929 года Голованов писал своей супруге Антонине Неждановой:

“В Москве всё по-старому, пока благополучно. В субботу вечером был у А. И. Анисимова по его приглашению. Был замечательно интересный вечер — у него поэт Клюев Николай Алексеевич читал свои новые стихи; были Коренева, Массалитинова, Р. Ивнев и другие. Я давно не получал такого удоволь-

ствия. Это поэт 55 лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддѣвке – изумительное, по-моему, явление в русской жизни. Он вывел Есенина на простор литературного моря. Сам он питерец, много печатался. Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого берѣзки и месяц бегут топиться в речку. Стихи его изумительны по звучности и красоте. Философия их достоевско-религиозная – настоящая вымирающая таѣжная Русь. Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте. Потом он рассказал две сказочки – это совершенно исключительное явление. К нему Шаляпин в 3 ч/аса/ночи неоднократно приходил, будил его и плакал у него. Я ищу его книги по всей Москве, в одном магазине мне обещали через 4 дня. Я очень хочу, чтобы Вы обязательно его послушали. Он должен прочесть свою большую последнюю вещь, которая тянется 1.40 минут (очевидно, речь идёт о “Погорельщине”. – С. К.)... Я о нём много слышал раньше, но не думал, что это так замечательно. Первый том Есенина написан под влиянием его, а он самый благоуханный и талантливый из всех его сочинений...”

Голованову Клюев преподнёс двухтомник “Песнослава”, надписав на форзаце первой книги:

“Николаю Семёновичу Голованову – ворох моих песен – цветов с русских полей и лесов преподношу, счастливый тем, что на моём жизненном пути встречаю великого и прекрасного, кто слышит колокола Китеж-града невидимого!”

И ему же было подарено старопечатное Евангелие с надписью-благовением:

“Во имя Господа Иисуса Христа ради Его св. Имени на русской земле благословляю сие Св. Евангелие Николаю Семёновичу Голованову на спасение, жизнь, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми”.

Антонина Нежданова удостоилась особого подарка: ей были преподнесены автографы стихотворений “Мне сказали, что ты умерла...” и “Вспоминаю тебя и не помню...”, причём первое было вынесено в эпиграф ко второму (это на сей день единственный такой известный случай в клюевских инскриптах)... И на том же листе была начертана дарственная надпись:

“Посвящается Антонине Васильевне Неждановой – Сирин-птице, поющей и вызывающей о красоте Русской Народной Земли”.

Он ещё успел услышать неждановскую Марфу в “Царской невесте” и её же “Снегурочку” в одноимённой опере по пьесе Александра Николаевича Островского.

... Во время своих наездов в Москву Клюев останавливался на квартире у Николая Минха. Вместе с ним он забредал в гости на Пречистенку в искусствоведа Александру Анисимову, в Замоскворечье, в Голутвинский переулочек в дом артиста Большого театра Анатолия Садомова и жены его Натальи Фёдоровны. У этой пары он останавливался в тот период, когда занимался обменом своей лениградской квартиры на московскую.

Наталья Садова оставила яркие воспоминания о том впечатлении, которое произвёл на неё поэт.

“Предо мной был чисто русский человек – в поддѣвке, косоворотке, шароварах и сапожках – старинного покроя. Лицо светлое, шатен, борода небольшая, голубые глаза, глубоко сидящие и как бы таившие свою думу. Волосы полудлинные, руки красивые, с тонкими пальцами, движения сдержанные; во всём облике некоторая медлительность, взгляд весьма наблюдательный. Говорит ровно, иногда с улыбкой, но всегда как бы обдумывая слова, – это заставляло быть внимательным и к самим словам. Говор с ударением на “о” и с какими-то своеобразными оборотами речи...”

Ник/олай/ А/лексеевич/ был нетребовательным гостем: для него ценнее всего была тишина, чтобы он мог углубиться в своё сокровенное творческое состояние. Оно было, как он говорил, не второй его натурой, а первой – и в нём он находился почти непрерывно, даже во время сна... Чувствуя моё самое сердечное внимание и, по его словам, даже понимание сущности его “внутреннего мира”, – он делался как-то родственно-доверчивым. Его обычная замкнутость исчезала, а сердце открывало свои богатые сокровища. Вот тогда-то и выявлялась особая основа этого “внутреннего мира”: он видел, знал и ясно понимал сущность бытия – видимого и как бы невидимого через знание и опыт...

Он говорил, что у него не проходит время без особых восприятий, и даже во сне... Спорить не любил, больше внимательно выслушивал, но по живым, пронизательным глазам можно было ясно почувствовать внутри его полноту творчества. Никол/ай/ Алекс/еевич/ высоко ценил воспитание человека через общественное влияние и науку, но считал весьма необходимым самому человеку осознать и понять свои внутренние свойства, раскрыть в себе лучшие качества, заложенные в нём, благодаря чему и имеет он высокое звание человека и все возможности владеть и управлять силами природы и менее сознательными существами. Он говорил, что настало время познать человеку силу доброй воли в каждом и на основе этого добра объединиться человечеству для блага общего и каждого.

Н/иколай/ А/лексеевич/ утверждал, что поэзия и призвана через тончайшие, свойственные ей одной откровения дать человечеству всеисчерпывающие отображения мировых явлений – от самых тёмных бездн падений до высочайших красот просветлённости. И вся эта непрерывная гамма отображений невольно влечёт человечество к желаемому светлому обновлению и взаимному созвучию.

В этой могучей преобразовательной силе и сокрыто воспитательное значение поэзии; возвышая дух человека в необозримую высь творческих возможностей, она приводит к порогу божественных законов, отображающихся в мировой гармонии... Он испытывал глубокий трепет перед тем даром, который ярко чувствовал в сокровенной глубине своего существа, но щедро делился им лишь с созвучными сердцами...

Наталья Садомова слушала его рассказы о детстве, о любимой матери – преображённые, сотворённые в новой реальности... Клюев переживал свою новую поэму о роде своём, о последней Руси, погружающей в глубинные хляби истории, свой заветный труд, о котором он после скажет: “То, для чего я родился...”

* * *

И совсем о другом Клюеве – ироничном, шутовом, ядовитом рассказывал мне в 1977 году замечательный прозаик и поэт Сергей Николаевич Марков.

– “Пришёл с посошком и с узелком в Литфонд за пособием. Спрашиваю, где бы получить? И тут... – в глазах Маркова, пересказывающего клюевские слова, мелькает хитрая искра, – Безыменский подъезжает, антихрист, с блудницами, масонами, жидками. И всё забрал”. Да, именно так он и рассказывал. “А сзади, – говорит, – Мейерхольд верхом на блуднице... И по переменке, по переменке...” Так сны и явь у него перемешивались, на ходу сочинял, только рассказывал лишь то, что считал нужным... Очень боялся, как бы не узнали его подлинную биографию... Да много что он рассказывал о себе, но где правда, где нет – поди узнай. Рассказывал о своём путешествии в Кульджу, в Западный Китай. “Аж до Тибета доходил...” А спросишь его о чём-нибудь подробнее – так отговаривается. “Жизнь – тропа Батыева. Помирать буду – расскажу”.

– Он действительно был таким противником советской власти, как о нём писали?

– Да прямых политических выступлений у него и не было никогда. Разве что с сожалением вспоминал о царском дворе. Но как вспоминал! С лютой завистью к Распутину. “Гришка Распутин мне дорогу перешёл...” И не один раз это повторял. А в другой раз – о том, как его вызывали в ГПУ, это в период процесса над Промпартией. “Ваше отношение к Рамзину?” – спрашивают. А он: “Рамзинов? Помню. У нас в деревне железом торговал”. Так и ломался. “Как что случится – я к Анатолию Васильевичу”. К Луначарскому то есть. “В профсоюз вступить надо было. А у меня билета нет. Пошёл к Анатолию Васильевичу, и выписал он мне удостоверение: “Сторож источников народного творчества”.

– Вы в Ленинграде с ним встречались?

– Сначала в Ленинграде, потом в Москве. В Ленинграде он жил в полуподвальном помещении дворца, где убили Распутина. В Москве тоже в полуподвале.

– А какое впечатление он производил как человек?

— Как человек? Гениальный актёр. Приходишь к нему, а он сидит, варёжку вяжет, рассказывает одну историю за другой. Достая бутылку водки, хочу угостить, наливаю. Он руками машет, крестится. “Ты что, котинька, дух...” Потом глаза сверкнут, хитро подмигнёт: “А жидам не скажешь?” И опрокинет рюмку.

“Стихийного антисемита из себя изображал, — вспоминал Марков. — Спросишь его: “Николай Алексеевич, неужели Мандельштам тоже жид?” А он в ответ лишь хитро улыбнётся”.

А весь этот спектакль и с рюмкой (которую Клюев, конечно же, не выпивал), и с “жидами” был своего рода подыгрывшем распоясавшимся критикам: дескать вот он, типичный “крестьянский” якобы поэт...

Да Марков и сам это по сути прекрасно понимал.

— Но более образованного человека я в те годы не встречал. Своим он был в кругах востоковедов. Историю монгольского ига знал, как никто. Я не говорю уже о древнерусской литературе и об иконописи. Когда наизусть читал Аввакума — рыдал горячими слезами. При мне же читал в подлиннике Верлена и играл на рояле Грига... Не забыть, как исполнял свои стихи. Сидит на деревянной лавке под образами и читает “Заозерье”... Сам в кафтане, в смазных сапогах, слушатели сначала недоумённо переглядываются при виде маскарада. А он как затаен:

*Отец Алексей из Заозерья —
Берестяный светлый поп,
Бородка — прожелть тетерья,
Волосы — житный сноп.*

Читает до конца и тут же переходит к “Деревне”... “Видно, к хлебушку с новым раем посощку пути нележки...” Слушатели уже сидят, как прикованные, сил ни у кого не остаётся. А он под конец — свою пророческую “Погорельщину”. Крик пророка. Крик о Христе. И все доходят до кликушества... Ох, как он умел это делать! И ничего не боялся.

— Вспоминал, как устроил, чтобы Есенина не послали на фронт. О матери своей вспоминал, и видно было, как он гордится своей любовью к ней. О Ганине рассказывал, о встречах с ним в Вологде. И архиепископа Варнаву вспоминал, бывшего огородника в Каргополе... И ведь, не сбиваясь, сохранял олонецкий говор. Историю северных городов знал назубок... А ленинградские писатели относились к нему, как к монстру.

“Монструозность” Клюева была уже притчей во языцех в литературных кругах. Только это не производило должного впечатления ни на его ближайшее окружение, ни на молодых поэтов, стремившихся с ним увидеться, ни на зарубежных гостей, встречавшихся с ним лицом к лицу.

* * *

В 1929 году к Клюеву в сопровождении Алексея Чапыгина пришёл итальянский славист Этторе Ло Гатто. Позднее он вспоминал, что Клюев увидел в нём не столько историка литературы, сколько итальянца. “В Клюеве, который в Италии никогда не был и об итальянской поэзии знал мало, если вообще знал, ностальгия северянина по Италии, по югу была как бы обусловленной, хотя и менее выраженной, чем это было век назад у Пушкина. И всё же, встретившись со мной, итальянцем, и услышав из моих уст о ностальгии южанина по северу, по России, он, не задумываясь, назвал меня “светлым братом”...” Ло Гатто много не знал о Клюеве и, конечно, был здесь несправедлив. Не все упоминал Клюев в своих стихах начала 20-х годов и Джозуэ Кардуччи, и Аду Негри. Да и встреча с Ло Гатто почти совпала с относительно недавней работой над стихотворением, где Италия, отражённая через “Святого Себастьяна” Тициана Веччелио, соединялась мучительной памятью о древней северной Руси, о предках.

*И мужал я, и вырос в келии
Под бородою отца Макария,
Но испить Тицианова зелия
Нудит моя татария.*

*Себастьяна, пронзённого стрелами,
Я баюкаю в удах и в памяти,
Упоительно крыльями белыми
Ран касаться, как инейной замяти.*

*Старый лебедь, я знаю многое,
Дрёму лилий и сны Мемфиса,
Но тревожит гнездо улогое
Буквоядная злая крыса, —*

*Чтоб не пел я о Тициане —
Пляске арф и живых громах.
Как стрела в святом Себастьяне,
Звенит иное в стихах.*

*Овчинный омут полатей,
В ночи стокрылый петух,
И за лыками дед Кондратий
Провидец бурь и засух.*

.....
*Но в словесных взывах и срывах,
Себастьянов испив удел,
Из груди не могу я вырвать
Окаянных ноющих стрел.*

И Родина, и родословная — стрелы, пронзившие поэта, как святого Себастьяна, пригвоздившие к родному, что не отпускает от себя в благодатную землю проповедей апостола Петра... И на грани “фола” или почти за гранью — образ того же Себастьяна, “убаюканный в удах и в памяти”... Поразительно здесь совпадение по ощущению со словами Нобелевской лекции Томаса Манна, которую тот произносил в то же время, когда Клюев принимал у себя посланца с итальянской земли.

“У меня есть один любимый святой. Назову вам его имя, это святой Себастьян — помните, юноша у столба, пронзённый со всех сторон копьями и стрелами и среди мук улыбающийся. Привлекательность среди мук — вот героизм, символизируемый святым Себастьяном”.

Заклеймённый “кулацким” клеймом, зажатый в смертельные тиски, Клюев отпускает птицу своего воображения не только в Италию, он до Норвегии жаждет добраться, до любимого Кнута Гамсуна, чей литературный юбилей как раз отмечался в том же году.

*Кнут Гамсун — в лебедином мае
Черёмуховый ветерок,
А я — глухонемой поток,
В плену у скал Титан заклый,
Гляжусь в луну и пью закаты,
Но сладости язык далёк!
Душа летит на огонёк,
В бесследицу и замять поля,
Где у костра сидит недоля,
Вплетая бурю в шлык кровавый.*

.....
*Ах, где ты, речки серебро,
Босые ноги, рыбный кузов?!
Уж не рассорится ли с музой —
Белицей в беспоповском срубце,
Пусть сердце бесы на трезубце
Зловещим факелом несут,
Лишь только б верности сосуд,
Где слёзы ландышей, барвинок,*

*Не опрокинул чёрный инок —
Сомнение в сетях тропинок,
Меж пней и цепких корневищ?!*

Страх от потери любви равнозначен страху от потери Родины, пленившей, не отпускающей в “золотые, далёкие дали” (тут и Есенина впору вспомнить!), теряющей на глазах свой облик, свою стать и суть.

“Сам Клюев сказал мне в 1929 году, — вспоминал Ло Гатто, — что одним из оснований неблагоприятного отношения к нему власть предержащих явилось его прославление революции как “взрыва элементарных частиц”. Я напомнил ему тогда — сужу по записям того времени, — что Блок тоже говорил о революционной стихии как воплощении духа музыки, на что он возразил, что для Блока это было лишь теоретическим измышлением, в то время как он исходил из внутреннего религиозного опыта. . .

То ли в 1929, то ли в 1931 году Клюев имел повод сказать мне. . . что “величайшее злодеяние” советского правительства состояло в превращении русского “мужика” в пролетария, в беспощадном разрушении того, что составляло глубинную сущность России; в осуждении религиозности, якобы противоречащей материальному прогрессу, той набожности, которая всегда присутствовала в душе русского крестьянина, хотя бы в формах более примитивных, как, к примеру, в жестокие времена Болотникова, Стеньки Разина и Пугачёва, столь любезных большевикам. . . Как иностранец я не могу вдаваться в оценку того, что было сказано о Клюеве некоторыми весьма остроумными критиками. Я имею в виду, к примеру, мнение Ходасевича, полагавшего, что “крестьянская Россия”, которую выразили такие поэты, как Клюев, Есенин, Клычков и Ширяевец, не только готова была исчезнуть или уже исчезла, но и не существовала вовсе. Признаюсь, что мнение Ходасевича произвело на меня сильное впечатление, но мысль о том, что Клюев мог быть “позёром”, отпала, едва лишь я узнал его лично. Не знаю, что было прежде, но в период наших встреч Клюев был весьма далёк от какой-либо фальши. Он был прост и в душе и в поведении, как человек, заплативший и снова готовый платить дорогой ценой за собственную веру. . .”

Клюев подарил Ло Гатто икону из своего киота (она и сейчас хранится у наследников слависта в Италии), передал ему экземпляр “Погорельщины” с наказом опубликовать “после его смерти” (на возможность публикации в России он потерял всякую надежду), подарил двухтомник “Песнослава” с дарственной надписью на втором томе:

“Этторе Лё Гатто

Светлому брату

Песни мои — Олонецкие журавли да озёрная гагары, — летите за синее море под сапфирное небо прекрасной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, страстотерпному праху колизея, гробнице чудного во святых русских Николы Милостиваго, могиле сладчайшаго брата калик переходжик Алексия — человека Божьяго, соснам Умбрии и убрису Апостола Петра! Расскажите им, песни, что заросли русския поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берёз новгородских, что кровью течёт Матьер-Волга, что от туги и скорби своего панцырнаго сердца захлебнулся чёрной тиной тур Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирскаго царства, что волчьим воем воют родимыя избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощённая и неприкаянная Россия!
Николай Клюев.

День похвалы Пресвятыя Богородицы 1929 года”.

Ещё годом ранее он сделал дарственную надпись на книге “Изба и поле” румынскому писателю Панаиту Истрати в иной тональности:

“Дорогому Панаиту Истрати на память о нашей встрече на омытой кровью русской с надеждой на радость всемирную.

Николай Клюев.

1928 г.

Не железом, а красотою купится русская радость”.

Панаит Истрати навестил Клюева вместе с греческим писателем Никосом Казандзакисом, который потом в беллетризованном виде опишет эту встречу в романе “Тода Раба” (имя главного героя — негра) с подзаголовком “Москва

кликнула клич". Место встречи перенесено в Баку, а сам Клюев фигурирует в книге Казандзакиса под именем "Фёдор Тунганов". Ему же в уста вложены и отдельные подлинные реплики самого поэта.

— Я не из тех русских, которые делают политику и пушки. Я — той же золотой нити, из которой созданы легенды и иконы. . .

— Демон и архангел всегда борются в любую эпоху. Оба носят меч. Нельзя их путать.

— Бог велик, Россия — велика, я не боюсь. . ."

А когда один из героев романа Геранос (прототипом послужил сам Казандзакис) бросает Тунганову реплику: "Сегодня для меня дыхание, толкающее меня вверх, — это Коммунизм. Это мой архангел", — тот отвечает возмущённым шёпотом:

— Впервые слышу такое определение коммунизма. Может быть, речь идёт не о русском коммунизме. Мы — я и три четверти русского народа — мы смотрим на коммунизм как на Сатану, вооружающего людей для того, чтобы они перерезали горло друг другу".

Истрати в своей книге воспоминаний о Советском Союзе не упомянул о Клюеве вовсе. И похоже, что поэт оставил двух писателей в полном замешательстве.

И ещё об одной встрече мы не имеем никаких доподлинных свидетельств. Известно лишь то, что в сентябре 1930 года Борис Кравченко проводил Клюева на вокзал, когда тот отправлялся в Москву — повидаться и поговорить с Рабиндранатом Тагором, который в это время посетил Советский Союз, где встречался со студентами и преподавателями вузов Москвы, выступал в ВОКСе и в Колонном зале Дома Союзов. И эти выступления весьма показательны для его тогдашнего устроения:

"Я приехал в этот край для того, чтобы поучиться. Я хочу узнать, как вы в своей стране разрешаете великую проблему, мировую проблему цивилизации. Проблема современной цивилизации отошла от настоящего пути. Она оторвала человеческую личность от общества. Современная цивилизация породила чрезвычайно искусственную жизнь, она создала болезни, вызвала особые страдания, создала ряд ненормальностей. Не знаю, каким образом нужно действовать для того, чтобы вылечить современную цивилизацию. Я не знаю, действительно ли правилен тот путь, который вы избрали в этой стране для разрешения этой проблемы. История рассудит, насколько вы действительно правы. Я сам глубоко интересовался проблемами воспитания, просвещения. Моя идея, моя мечта была в том, чтобы создать свободного человека, одновременно культурного и связанного с трудом, с жизнью. При современной цивилизации человеческая личность живёт как бы в клетке, оторванной от всего остального общества. В вашей стране вы порвали с этим злом. Я слышал от очень многих и сам в этом убеждаюсь, что ваши идеи очень похожи на мою собственную мечту, мою мечту о полной жизни индивидуума, о всестороннем воспитании. Вы в вашей стране даёте индивидууму не только научное образование, вы превращаете его в творческую личность. Этим самым вы осуществляете величайшую, высшую мечту человечества. Я благодарю вас сердечно за это".

Остаётся лишь горько пожалеть, что нам ничего не известно о встрече двух великих поэтов. Состоялась ли она вообще, и о чём они говорили друг с другом — если состоялась? Тагор для Клюева значил, пожалуй, больше, чем Ло Гатто, Казандзакис и Истрати вместе взятые.

В свой же адрес Клюев слышал весьма внушительные речи одной такой "развившейся личности":

"Она ещё доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по "престольным" праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.

Ещё живёт "россеянство", своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по-прежнему, по старинке, в "особый" путь развития, в народ-"богоносец", с погружением в "философические" глубины мистического "народного духа" и красоты "национального" фольклора.

В современной поэзии наиболее сильными представителями такого “россеяинства” являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин – в прошлом)”.

Этой тирадой открывалась вышедшая в 1930 году книга Осипа Бескина “Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика”. Бескин был далеко не единственный и не самый главный из “артиллеристов”, открывших по поэтам русского Возрождения огонь на уничтожение. Но именно он нашёл те характеристики и сопутствующие им определения, которые, “как старое, но грозное оружие”, будут в критические моменты истории извлекаться из нафталина и пускаться в ход – как в эпоху либерального “шестидесятничества”, так и в эпоху “великой криминальной революции”.

Клюев чувствовал, что времени осталось слишком мало. И, собрав все силы, погрузился в создание великого русского поэтического эпоса – поэмы “Песнь о Великой Матери”.

(Продолжение следует)